

Вера Засулич

ВОСПОМИНАНИЯ

RUGRAM

Издатель Иванов В. Ю.
2022

УДК 93/94
ББК 63.3
З-36

Текст печатается по изданию:

Засулич, Вера Ивановна. Воспоминания: Подготовил к печати Б. П. Козьмин. —
Москва: Всес. о-во политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1931. — 159 с.

Засулич, В.

З-36 Воспоминания / В. Засулич. — М. : Т8 Издательские технологии /
RUGRAM, 2022. — 222 с. — (Исследования мировой истории).

ISBN 978-5-521-98949-0

Книга воспоминаний Веры Ивановны Засулич (1851–1919). Дочь провинциальных дворян рано лишилась отца, получила в Москве диплом учительницы, с юности участвовала в народнических кружках. В 1878 году стреляла в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова, пуля попала чиновнику в левый бок, ранение окажется не смертельным. Судом присяжных была оправдана. Засулич быстро разочаровалась в терроре и перешла на позиции марксизма, одна из основательниц группы «Освобождение труда»; в последние годы своей жизни вместе с Плехановым участвовала в оборонческой группе «Единство». Великую Октябрьскую Социалистическую революцию не приняла. 69-летняя революционерка умерла в 1919 году в Петрограде.

BIC HB
BISAC HIS032000

ISBN 978-5-521-98949-0

© RUGRAM, 2022
© Т8 Издательские технологии, 2022

ОТ РЕДАКЦИИ

От народничества – до марксизма. От скромных малолюдных революционных кружков, создававшихся в подполье мелкобуржуазной интеллигенцией в конце, 60-х годов прошлого века, – до массовой рабочей партии. Таков был длинный революционный путь, пройденный В. И. Засулич, одной из замечательнейших в истории русского революционного движения женщин. На этом пути ей приходилось встречаться с крупнейшими людьми нашего революционного прошлого, – от Нечаева до Ленина. Ряд переломных моментов в истории этого прошлого связан с ее именем. Ее выстрел в Трепова, потрясший в 1878 г. все русское общество и сделавший ее имя всемирно известным, знаменовал собою начало перехода русского революционного народничества от пропаганды к террору. В расколе этого народничества на два лагеря – на «Черный Передел» и «Народную Волю» – В. И. Засулич непосредственного участия принимать не могла, так как к этому времени она находилась уже не в России, а за границей, в эмиграции; однако, В. И. не осталась равнодушной зрительницей событий: узнав о расколе, она спешит примкнуть к «Черному Переделу». Немного времени спустя она, вместе со своими товарищами; по «Черному Переделу»: Плехановым, Аксельродом, Дейчем и Игнатовым, организует группу «Освобождение Труда», положившую начало новому направлению нашей революционной мысли и практики – русскому марксизму. Когда в самом начале 1900-х годов началась борьба против экономизма, временно завоевавшего себе господство в рядах русской социал-демократии, мы находим В. И. Засулич, вместе с Плехановым и Лениным, в редакции «Искры», вынесшей на себе всю тяжесть начавшейся борьбы. В последующем расколе социал-демократии на две фракции, – большинство и меньшинство, – и в той борьбе, которую они так долго и так упорно вели между собою, В. И. Засулич, примкнувшая к меньшевизму, являлась деятельной участницей. Крепко связавшая себя с меньшевизмом и откатившаяся к ликвидаторству и социал-патриотизму, В. И. Засулич, доживши до великих Октябрьских дней, враждебно отнеслась

к победе русского пролетариата и к завоеванию им государственной власти. Она оказалась неспособной понять великое историческое значение этого переворота.

Человек, прошедший такой длинный и интересный жизненный путь, как В. И. Засулич, и подобно ей постоянно находившийся в центре крупнейших исторических событий, – много мог бы рассказать о том, чем он был свидетелем, и о тех людях, с которыми ему пришлось встречаться. Друзья В. И. неоднократно пытались убедить ее приняться за писание воспоминаний. Однако, В. И., придерживавшаяся слишком скромного мнения о своем литературном таланте, не соглашалась исполнить просьбу своих друзей. Правда, под конец жизни она взялась за перо и начала писать автобиографию, но вскоре почему то бросила эту работу, оставив нам лишь ряд незаконченных и несвязанных хронологически между собою набросков. Помимо этих недоработанных отрывков, в литературном наследии, оставленном нам, В. И. Засулич, мы находим несколько статей, посвященных нашему революционному прошлому и написанных главным образом на основании ее личных воспоминаний. Эти статьи по богатству заключающегося в них исторического материала до сих пор сохраняют свое значение. Разбросанные по различным сборникам и журналам, частью малодоступным в настоящее время читателям, эти, статьи вполне заслуживают переиздания. Настоящая книжка, заключающая в себе все написанное В. И. Засулич по истории нашего революционного движения^[1] должна облегчить читателям ознакомление с этой частью ее литературного наследия.

В эту книгу входят прежде всего те автобиографические наброски В. И. Засулич, о которых упоминалось выше и которые впервые были опубликованы в 1919 г. в № 14 «Былого». Ввиду того, что эти наброски не связаны тематически между собою и охватывают ряд совершенно различных и разновременных событий, в настоящем издании они разделены на четыре части: 1) Детство и юность, 2) Воспоминания о С. Г. Нечаеве, 3) Из воспоминаний о покушении на Трепова и 4) Владимир Дегаев. Кроме того, в настоящую книгу вошли следующие, написанные в различное время статьи В. И. Засулич: «Нечаевское дело» (опубликовано первоначально в № 2 сборн. «Группа Освобождение Трудя», Д. А. Клеменц (журнал «Наша Заря», 1914 г., № 2), Сергей Михайлович Кравчинский (Степняк) («Работник», 1896 г. №№ 1 и 2, Женева) и «Вольное Слово и эмиграция» («Современник», 1913 г. № 6).

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

1909 г. Лето.

Достала перевод романа Уэльса. Так как давно не читала по-английски, т.д.я упражнения, кроме заказанного романа^[2] купила еще несколько книжек того же автора. Увезла их в свою избу на хутор Греково^[3]. Сидела под вечер у себя на крыльце и читала «The time machine» («Машина времени»). Солнце за рощей должно быть совсем зашло, темно читать; положила я книгу, села на машину и поехала в прошлое. Нет, здесь неинтересно, – близкое прошлое совсем неинтересно, в более далеком поднимутся леса зеленые, дремучие, но и только. Вот, если в Бяколове^[4]... И мгновенно из-под Тулы я перенесла машину в Гжатский уезд, в помещичью усадьбу, и уехала на пятьдесят лет в прошлое, – последний год жизни старого дома; его перестроили как раз накануне освобождения. Вокруг меня тогдашнее Бяколово со всеми красками, звуками, со всеми его обитателями: Мимины^[5], дети, собаки, кошки... У меня всегда была плохая память на имена, но никогда не забывала я и теперь помню, как звали всех многочисленных собак и^[6]...

Она^[7] в самом начале XIX века воспитывалась в Сиротском институте. Попала туда, кажется, с самого рождения, никакой семьи, во всяком случае, у нее никогда не было. Всю жизнь прожила она в чужих богатых домах, воспитывала чужих детей. Я была первым ребенком, отданным в ее полное распоряжение, существовавшим, – в Бяколове, по крайней мере, – специально для нее. Еще до моего рождения^[8] она уже лет 10-12 прожила в Бяколове, воспитывала теток и дядю. Когда умер их отец, – мать умерла еще раньше, – старшей тетке было лет 20, самой меньшей – 14, дяде – 16.

Мимина была нужна, – этого декорум требовал, а она поставила условием, чтобы в доме был ребенок. Воспитание Луло (меньшая тетка) кончается, а она не может оставаться без дела. Таким образом я попала в Бяколово^[9].

Взялась она за меня, должно быть, очень ретиво.

Я рано помню себя, но не помню, когда училась читать и писать по-русски и по-французски; понимать по-французски я тоже начала с незапамятного для меня времени. Говорили, что обучить меня всему этому

и несколькими стихотворениям в прибавку, а также – молитвам, она ухитрилась, когда мне было три года.

Розги в Бяколове были не в употреблении, – я не слыхала, чтобы там кого-нибудь секли, а я, – говорили, – была в то время очень мила и забавна, а испортилась позднее. Секла она меня, должно быть, просто для усовершенствования, слегка. Я не помню ощущения боли, но помню, что операция должна была производиться в бане на лавке. Меня на эту лавку укладывают, а я изо всех сил подвигаюсь к краю и свертываюсь вниз, а меня опять укладывают, и так без конца.

Одна из теток вышла замуж, пошли свои дети, – бяколовцы. Ни в Мимине, ни во мне с ней вместе надобности уже не было, тогда, должно быть, я и испортилась.

Мимина, возможно, любила меня по-своему, но тяжелая это была любовь. Вдвоем со мною она все что-то говорила, говорила по-французски, по большей части, что-то тяжелое, неприятное, иногда страшное. Если я норовила отойти от нее, она возвращала меня на место. Когда она говорит со мной, она исполняет свой долг, а мой долг – слушать, пользоваться ее наставлениями, пока она жива. Скучное я пропускала мимо ушей, но страшное запоминалось. «Тебе хочется убежать; пожалеешь, когда я умру. Захочешь тогда увидеть Миминочку, придешь на кладбище: ручей, две-три березы, да еще искренние слезы – вот монументов красота, – других мне не нужно. Придешь, увидишь трещину в земле, заглянешь в нее, а из земли на тебя взглянет нечто отвратительное, ужасное: череп с оскаленными зубами, а Миминочку уж не увидишь».

Часто вместо нотаций она говорила стихи: «Где стол был яств, там гроб стоит... Надгробные там воют лики»^[10]. По-своему, для того времени, она была очень образована. Даже стихи иногда сочиняла. Гроба я никогда не видала, но знала, что страшный, длинный, а над ним рисовало изображение – «лики» одни, без туловищ, темно-красные, с разинутыми ртами и воют «ууу». К страшному я причисляла и оду «Бог», которую она так часто декламировала, что невольно лет 6-ти я знала ее наизусть, запомнив из нее отрывки, и ночью, если я не успевала заснуть прежде, чем захрапит Мимина, этот мудреный бог «пространством бесконечный – без лиц в трех лицах божества», вместе с черепом, ликами и другими страхами, против воли повторялся в голове и мешал мне заснуть.

В том же роде знала она и французские стихи: «O, toi, qui deroulait les sieux, comme un livre»; потом я открыла, что это стихи Вольтера. Сомневаюсь, знала ли она, что это его стихи. Что на свете есть безбожники, вольтерьянцы, это я от нее тогда еще слыхала. Тогда она переживала, вероятно, трудное время: из сравнительно почетного положения

(я еще помню, когда кушанья за столом начинали обносить с нее), она чувствовала, должно быть, что спускается постепенно в положение ниже гувернантки, – в положение приживалки.

Ей было под 60, глаза слабы, так толста, что, при маленьком росте, была почти шарообразна. Поздно искать нового места, а поговорить об этом было не с кем, кроме меня. Приживалка до самой смерти. Подумывала, вероятно, о смерти, хотя недолго, – прожила еще лет 35, – в конце 80-х годов была жива.

Любовь, вероятно, выражалась и в том, что она не хотела, чтобы я любила теток. Она не раз с чувством говорила мне: «мы здесь чужие, нас никто не пожалеет». Я живо помню, что именно такие речи меня сильно огорчали, с этим я мириться не хотела, не хотела быть чужой. Помню даже, что вела упорную войну с мальчиком, казачком, который, высунув голову из передней, усиленно шептал; если кто-нибудь из старших оглядывался, голова быстро исчезала, чтобы опять появиться. Не слышно было ничего, только видно, что он шепчет: «Верочка Засулич», и также шепотом я с озлоблением возражала в рифму: «неправда, – Микулич, Микулич!».

Но чем дальше, тем большее множество вещей твердило мне, что я чужая – не бяколовская. Никто никогда не ласкал меня, не целовал, не сажал на колени, не называл ласковыми именами. Прислуга, при малейшей досаде на меня не...^[11].

Лет 11 должно быть мне было, когда в Бяколове, в первый раз появилось евангелие, – новенькая книга, без переплета и даже не разрезана. Была, вероятно, и прежде, но по-славянски, и ее никто не читал. Теперь, великим постом, я каждый день должна была прочитывать вслух (слушали все тетки, Мимины, дети и даже няньки) по главе или по странице – уж я не помню, но только так, что в первый день читалась глава из одного евангелия, затем из второго, третьего, четвертого, а на пятый опять возвращались к первому, с таким расчетом, чтобы главы, начиная с тайной вечери, остались на последние дни страстной недели.

До этого на содержание религии я не обращала внимания, не думала о ней. Доставляла она мне изредка удовольствие, а больше скуку. Нескольким коротким молитвам Мимины меня еще трех лет выучила, потом прибавилось несколько других подлиннее. Мое дело было дважды в день протрещать их перед образом, как можно быстрее.

К семи годам (к первой исповеди) выучила «Верую» и знала краткую священную историю в вопросах и ответах, при этом – креститься и кланяться, а кончивши, поклониться в землю и убежать. Чуть не половину фраз я в них совсем не понимала и не интересовалась понять.

Под праздники у нас часто служили всенощную. Это было довольно скучно, – ничем развлечься не было возможности: наблюдали, чтобы стояли смирно, время от времени крестились. Я обыкновенно с нетерпением ждала чтения евангелия: во-первых, скоро конец, значит, а во-вторых, развлечение. Мы, дети, должны были тогда подойти к священнику. Меньшие впереди, а я сзади. Он всех накрывал епитрахилью, которая и ложилась на мою голову, как самую высокую.

«Пастырь добрый, душу свою полагает за овцы своя, а наемник божий нет». И я видела, как по полю, куда-то в темноту, длинными ногами, бежит «наемник», но в чем тут дело, я вовсе не интересовалась. Пока стояла с покрытой головой, мелькал вопрос – в чем тут дело: как пастырь «полагал душу» и куда бежит наемник? Но окончилась всенощная, кончался и интерес. «Больших» я никогда и ни о чем не спрашивала: выйдет непременно так, что разберут. Мимины рада была бы вопросу и ответила бы длинно, но в конце концов «добрым пастырем» оказалась бы она, а я овцой, – это в лучшем случае, а то и «наемником», который всегда готов убежать, когда его учат и хотят ему добра.

Ездить к обедне – это была радость. Церковь за 5 верст, брали не часто, и то только летом. Возили меня и в гости к соседним помещикам, где были дети, ездили и в лес, но все это после обеда, а в церковь утром. Все выглядит совсем иначе, и солнце, и небо другие, и едешь в нарядном платье и соломенной шляпке. А в церкви по уголкам иконы, цветные стекла, ладан так красиво окрашивается, попадая в полосу света, и синие, желтые, зеленые пятна и странно перекрашивают платки на головах баб. Там не успеешь соскучиться, как уже поют «иже херувимы». О святой и страстной и говорить нечего – это самое счастливое время в году. Но с богом, с религией – это все-таки в моей голове почти не связывалось в...^[12].

Но собственной воле я твердила: «крест на мне, крест на мне»... когда боялась в темноте; тут Мимины молитвы не годились, а этой меня выучила горничная девочка, которая также боялась и уверяла, что она помогает.

Были и еще случаи, когда я бросалась молиться, но уже своими словами. Это, когда, по моему мнению, меня обвинили, разобрали напрасно: взволнованная в слезах, вся дрожа, я становилась в пустой комнате перед образом и шептала, шептала, всхлипывая.

Я не помню, чтобы ждала я себе от этого какой пользы, не думала я, что бог как-нибудь за меня заступится, это были просто заверения в своей «невинности» «всеведущему», чуть не упреки: «ведь ты знаешь, ведь ты знаешь!.. Разве я когда?» и т.д.

Раз как-то, помню, попалась: какая-то из теток пошла за мной – должно быть, найдя еще что-то прибавить к нотации, – и застала, что я что-то шепчу перед образом. Если бы я сказала, что именно я шептала, – это, думаю, произвело бы благоприятное для меня впечатление. Но я, конечно, не созналась; на вопрос, что это я шепчу, ответила: «так», и получила, разумеется, добавочную нотацию: «шептать какие-нибудь глупости перед иконой не смей, к богу, следует обращаться только с молитвой».

Начала я вслух читать евангелие с неудовольствием. Сама бы я прочла, – я читала в это время решительно все, что попадалось под руку, – но вслух, при больших... Понемногу, однако, содержание книги начало привлекать меня. Он добрый, хороший. Он сразу совершенно отделился для меня от непонятного, скучного, немного страшного Миминино бога, для которого надо есть постное, бормотать молитвы. Он добрый, хороший, простым понятным для меня образом, и я ведь знала, что в конце его убьют, с нетерпением и каким-то страхом стала я ждать этих глав. В это же время в детском журнале, который получал соседний помещик и присылали мне на прочтение, было помещено стихотворение Мея «Слепорожденный». Я его списала и выучила. Оно также слилось с впечатлением евангелия. Все считали слепорожденного самым дурным. «Немало грубых разговоров, намеков, брани и укоров еще ребенком вынес он». А христос его пожалел, подошел к нему и исцелил, и прокаженные были самые печальные, все их от себя гнали. Воскресил девочку, – я в воображении расписывала подробности.

Не знаю, для чего записала Мимина евангелие в промежутках между чтением, но несомненно, что таким образом книга произвела гораздо большее впечатление, чем если бы я сразу прочла ее. Не с отвлеченным, неведомым богом произошло для меня все это: ночь в Гефсиманском саду, «не спите, час мой близок», просит он учеников, а они спят... и вся эта дальнейшая мучительная история. Я несколько недель жила с ним, воображала его, шептала о нем, оставшись одна в комнате. Всего больше волновало меня, что все, все бежали, покинули, и дети тоже, которые встречали его с пальмовыми ветвями, пели осанна. Они спали, должно быть, и не знали. Я не могла не вмешаться: одна девочка, хорошая, дочь первосвященника, слышала, как говорили, что его схватят. Иуда уже выдал, – будут судить и убьют. Она мне сказала, мы с ней побежали и создали вмиг детей: «Послушайте только, что они хотят сделать: его, его убить! Ведь лучше его на свете нет». Воображаемые дети соглашались. Понятно, мы бросились бежать по саду, прибегали, но дальше ничего не выходило. Не смела я ничего дальше выдумывать без его дозволения и еще меньше смела говорить за него. Это не страх

был, а горячая любовь, благоговение что ли; я знала, что он бог, – тоже бог, как и его отец, но он гораздо лучше, того я не любила. Молиться христу, ни за что бы я не стала. Приставать к нему с моими жалобами! Не его заступничества просить мне хотелось, а служить ему, спасать его.

Года через четыре я уже не верила в бога, и легко рассталась я с этой верой. Жаль было сперва будущей жизни, «вечной жизни» для себя, но жаль только, когда я думала специально о ней, о прекрасном саде на небе. Земля от этого хуже не становилась. Наоборот. Одновременно с этим я определяла свою «будущую жизнь» на земле, и так она вставала предо мною бесконечная... В 15 лет и один год кажется огромным временем. А то единственное в религии, что врезалось в мое сердце, – христос – с ним я не расставалась; наоборот, как будто связывалась теснее прежнего.

Как началось это приобретение будущей жизни на земле? Постепенно, издавна, черта за чертой складывалась она предо мной, далекая еще, неясная в сияющем тумане, но несомненная для меня. Мне кажется, что лично меня толкало жадно ловить все, что говорило о каком-то будущем, мое отвращение от будущего, которое сулило мне сложившиеся общественные условия, о которых упоминали в Бякове: гувернантка. Все что угодно, только не это!^[13]

Еще до революционных мечтаний, даже до пансиона^[14], я строила главные планы, как бы мне избавиться от этого^[15]. Мальчику в моем положении было бы, конечно, гораздо легче. Для его планов будущего широкий простор...

И вот этот далекий призрак революции сравнивал меня с мальчиком: я могла мечтать о «деле», о «подвигах», о «великой борьбе»... «в стане погибающих за великое дело любви». Я жадно ловила все подобные слова: в стихах, в старинных песнях: «скорей дадим друг другу руки и будем мы питать до гроба вражду к бичам земли родной», – в стихах иногда и там, быть может, где в мыслях автора было другое, находила у своего любимого Лермонтова и, конечно, у Некрасова^[16].

Откуда-то попалась мне «исповедь Наливайки» Рылеева^[17] и стала одной из главных моих святынь: «известно мне: гибель ждет того, кто» и т.д. И судьба Рылеева была мне известна. И всюду всегда все героическое, вся эта борьба, восстание было связано с гибелью, страданием.

«Есть времена, есть целые века, когда ничто не может быть прекраснее, желаннее тернового венка». Он-то и влек к этому «стану погибающих», вызывал к нему горячую любовь. И несомненно, что эта любовь была сходна с той, которая являлась у меня к христу, когда я в первый раз прочла евангелие. Я не изменила ему: он самый лучший, он и они